

Поезд остановился у деревянного перрона старинного белорусского городка Полоцка. Из мягкого вагона вышли два молодых человека довольно необычного для этих мест вида. В глаза бросались их короткие клетчатые брюки английского покроя с застёжками ниже колена, яркие модные рубашки западного стиля и широкополые шляпы, а главное — открытые и улыбчивые лица. Такие лица в Советской стране к тому 1936 году уже не встречались вовсе. Одному из этих иностранцев было девятнадцать лет, а другому — восемнадцать. В руках они держали по небольшому баульчику. Выйдя из вагона, ребята неуверенно стали озираться вокруг, но их растерянность была недолгой. К ним сразу бросилась маленькая старушка с криком: — Лёвочка! Наночка!

Они оба обхватили её руками: — Здравствуй, бабушка! Вот и мы!

Бабушка жила недалеко от вокзала, в маленьком покосившимся домике с огородом, прямо у реки Даугава. Приезд внуков стал для неё самым ярким событием за многие годы, с тех пор как её дочери и сыновья разлетелись по всему свету — от Америки до Китая. Это была её первая и последняя встреча с внуками. Мальчики родились и выросли в далёком русско-китайском городе Харбине и лишь месяц назад переехали в СССР — страну, откуда ещё до революции эмигрировали их родители и где пока ещё жили многие родственники. А в последний раз они виделись потому, что этих двух ребят ждали впереди страшные испытания, а сама бабушка, когда через несколько лет ей станет трудно жить одной, переберётся к дочерям в Ленинград, где и умрёт от голода в 1942 году.

Но пока это лето 1936 года было для неё временем счастья. Внуки гостили у неё целый месяц, она их поила парным молоком, что покупала у соседки, и кормила изумительным борщом своего приготовления. Ребята помогали ей в огороде, рыбачили на реке, а вечерами рассказывали про свою жизнь в далёкой стране. Особенно ярким рассказчиком был младший внук Нана:

— У нас в Харбине был большущий дом, с верандой, мама работала с Лёвиным отцом в его аптеке. В доме была китайская прислуга, убирала, готовила еду. Когда мы ещё были детьми, мы с Лёвой всегда были вместе. Вместе в школу ходили, только в разные

классы, жили рядом. Когда его стали учить на скрипке, моя мама сказала: «А мой сын будет играть на рояле, чтобы дети могли выступать вместе!» Вот так и получилось: я стал пианистом, а Лёва — скрипачом. Мы играли вместе почти каждый день, давали концерты в разных городах Китая, про нас в газетах писали. У нас были хорошие учителя, а потом Лёвин учитель уехал в Токио и забрал его с собой. Лёва жил в Японии четыре года у него в доме, много выступал с концертами и даже стал знаменитым. Этой весной советский посол в Японии пригласил Лёву переехать в Москву, чтобы учиться в консерватории. А Лёва ему сказал: «Я поеду только вместе с Наной!» Тогда посол связался с вашим правительством, и они ответили: «Хорошо, вместе так вместе, пусть приезжают оба». Мы и приехали. Нас сразу приняли в Московскую консерваторию, даже без экзаменов, но сейчас лето, и занятия начнутся только в сентябре. Вот мы и решили приехать к тебе в гости, бабушка.

Так действительно оно и было. Двоюродные братья-вундеркинды только в июне приехали из Харбина в Москву по приглашению советского правительства. Трудно сказать наверняка, почему в те годы Советской стране, а вернее, Сталину, вдруг понадобились талантливые музыканты. Видать, была у него идея фикс стать «впереди планеты всей» в самых разных областях культуры. В 1936 году М. Ботвинник стал чемпионом мира по шахматам (поделил первое место с Х. Р. Капабланкой), в 1937 году должен был состояться конкурс скрипачей и пианистов в Брюсселе. Музыкальные таланты стали нужны позарез. Хватало, разумеется, и своих, но на всякий случай, про запас, собирали и за бугром: кто знает, вдруг пригодятся? Потому что советский посол в Токио Юрнев и консульство в Харбине получили приказ Сталина организовать переезд в Москву Льва Тышкова и его двоюродного брата Анания (Нану)



Нана и Лев в Харбине (1927 г.)

Шварцбурга, детей ещё дореволюционных эмигрантов. Когда они приехали, их отдали в учёбу к лучшим педагогам Московской консерватории: Лев стал студентом А. И. Ямпольского, а Ананий учился у К. Н. Игумнова.

Поскольку в те страшные годы молодых людей готовили для показа за границей, на их явно западный облик, свободомыслие и раскрепощённое поведение пока закрывали глаза. Пусть себе порезвятся до поры до времени. И они резвились во всю силу своего молодого темперамента. Особенно Нана. Будучи блестящим пианистом, он ещё обладал прекрасным актёрским талантом; несмотря на свои восемнадцать лет, был уже широко эрудирован, начитан, писал стихи и эпиграммы и слыл душой любой компании. Вокруг него всегда собирались друзья, он прекрасно рассказывал анекдоты, рисовал шаржи, знал массу интересных историй, особенно о Китае и других станах, где хотя и не бывал сам, но слышал о них от своих харбинских приятелей, поездивших по свету. В то время такое свободное поведение в стране, где стало жить «лучше и веселее», мягко говоря, было хождением по острию ножа.

Однако в 1937 году на международный конкурс имени Эжена Изаи в Брюсселе Льва и Нану решили не посылать. То ли их уровень сочли ниже, чем у Ойстраха и Гилельса, но, скорее всего, начинало раздражать их независимое поведение свободных людей, и вождь решил, что пришла пора пустить друзей «под нож». И в самом деле, зачем стране рабочих и крестьян лишние музыканты?

Лёву арестовали в Москве первого декабря 1937 года. Нана в это время жил в Ленинграде, куда он переехал к родителям и перевёлся на учёбу в Ленинградскую консерваторию. За ним пришли через два месяца. Вытащили прямо из постели среди ночи, под безумный плач его матери Рахили связали руки, запихали в чёрный воронок и увезли в Большой Дом. Продержали какое-то время в общей камере, а потом ночью привели на допрос. Не сказав ни слова, следователь и его помощник стали его жестоко избивать. Били по голове, пинали ногами, стараясь угодить по почкам. Потом усадили на стул, облили водой, чтобы в себя пришёл, и следователь сказал:

— Давай рассказывай: как же тебя подобило стать японским шпионом? А может, и английским? Нам ведь всё известно. Твой двоюродный брат Лев Тышков признался, что сам шпионил на Японию и тебя вовлёк для собирания секретной информации. Вот тут протокол готов, давай подписывай и не трать наше время.

Разумеется, говорил он вовсе не так вежливо, как тут написано, а перемежал слова площадным матом. Ещё не понимая обстановку, Ананий сказал:

— Да никакой я не шпион, и мне не в чем признаваться. Всё это неправда!

Но тут дверь открылась, и вошёл другой следователь, видимо начальник, совсем молодой, с густыми русыми волосами, пышными усами и холодными рыбьими глазами. Следователь сразу вскочил и к нему обращается:

— Вот, товарищ капитан, японский шпион. Не желает признаваться. Уж протокол готов, а он не признаётся.

— А вы что,— тихо сказал усатый,— забыли про указание товарища Ежова? Бить, бить и бить, пока не сознается! Вот смотрите, я вам покажу, как надо.

Он подошёл к Нане и спросил, чем он занимался до ареста. Нана с трудом выговорил:

— Я пианист.

— Ах вот как! — улыбнулся тот. — Значит, на рояле играете? А вот скажите-ка мне: какая рука для игры на рояле важнее, правая или левая?

Нана пробормотал, что обе важны, но для первой партия может быть сложнее.

— А пишете вы ведь правой рукой?

Нана кивнул. На что начальник опять улыбнулся, взял его за левое запястье и сказал:

— Ну тогда мы правую руку пока побережём. Пойдёмте-ка со мной.

Затем подвёл Нану к входной двери, открыл, положил его левую ладонь в проём у дверных петель и со всей силы дверь захлопнул. Как лучины, хрустнули поломанные кости. Нана закричал, потом задохнулся от ужасающей боли и осел на пол. Кожа на пальцах лопнула, кровь потекла на пол, а палач мягко сказал:

— Вот теперь можно и продолжить. Правая рука пока что действует, возьмите-ка в неё ручку и подпишите протокол, а не то мы и с ней повторим то же самое.

Взял он Нану теперь за правое запястье, подволок его, обмякшего, к столу, вложил ему в пальцы ручку, обмакнул в чернильницу и ткнул в лист бумаги на столе:

— Пишите.

Нана нарисовал закорючку и потерял сознание.

Очнулся он в камере. Рука ныла, но резкой боли не было. Кто-то хлопал его по щекам и лил в рот воду из алюминиевой кружки. Старичок с бородкой клинышком, Нана уже знал, что был он профессор из медицинского института, тоже «шпион», сказал сокамерникам, которые собралась вокруг раненого: — Переломы довольно серьёзные, но чтобы кости правильно срослись, надо их сразу зафиксировать. Вы, уважаемые, поддержите парнишку, ему сейчас будет опять больно, но выхода нет, надо кости сложить.

Он снял с себя рубашку, закрутил её в тугую жгут и вложил Нане в рот меж зубов. Кто-то из эзков отодрал каблук от ботинка и подал доктору, потом все вместе прижали Нану к полу, и доктор



А. Е. Шварцбург (в центре) на лесоповале (начало 40-х)

принялся за работу. Повезло Нане — он опять потерял сознание от невыносимой боли, а когда очнулся — разглядел, что рука замотана тряпкой так, что сломанные пальцы плотно уложены на каблук, и даже перевязь через шею сделана из куска рубахи. Пролежал он в забытьи до утра, и даже чуткие вертухаи его не беспокоили.

Вскоре его опять вызвали к следователю и объявили приговор — десять лет лагерей, а ещё через неделю отправили на этап. В первой пересыльной тюрьме была больничка, там фельдшер руку перевязал, почистил нагноение и подивился, как мастерски были кости уложены. Каблук выбросил и даже сделал новую шину из дощечки. Повезло шпиону — может, будет ещё на рояле играть.

Ехали на восток долго, и в конце марта привезли его на свердловскую пересылку. Завели в камеру, где народу было не так уж много, человек пятнадцать, и вдруг крик:

— Нана!

Оглянулся — Лёва! Вот радость-то! Двоюродные братья обнялись, кто-то из эзков место уступил в углу, чтобы присесть, и проговорили они до отбоя. Ночью правило — должны лежать, руки вытянув поверх одеяла, и разговаривать нельзя. Встреча была недолгой, и через два дня развели их на многие годы. Впереди у каждого был главный этап: Лёве — на Северный Урал, а Нане — намного дальше. Этап для эзков — это крестный ход, его ещё выжить надо. И молитва у них была такая: «Господи, упаси меня от лесоповалов Норильска, от торфяных болот Мордовии и от золотых шахт Колымы». Вот эта Колыма пианисту с поломанными пальцами и выпала.

На владивостокской пересылке его обрили наголо, одежду от вшей прожарили, в баню сводили и погрузили с сотнями таких же несчастных в трюм парохода. В Магадан, столицу Колымы, этап пришёл к лету, выгрузили эзков с парохода в бухте Нагаева и развели по лагерям. Анания Шварцбурга отправили на работу в шахту добывать руду, не то оловянную, не то золотую — для ээка какая

разница? Рука болела меньше, кости медленно, но срастались. Дощечку он снял, хотя на всякий случай спрятал её в бушлате. Стал понемногу разрабатывать суставы на руках и мог уже рукоять от тачки обхватывать.

Через полгода перевели его на лесоповал в далёкий лагерь, километров за сто на север от Магадана. Попался на его пути хороший человек — бригадир Николай Копцов, который опекал молодого парнишку с поломанными пальцами и, чтобы не травмировать руку, давал ему более щадящую работу. Разминал Нана пальцы постоянно, а по ночам на нарах вообще беззвучные гаммы играл. На лесопилке со своим напарником пилил он брёвна под бесконечный припев: «Мне-тебе-начальнику-мне-тебе...» — и так далее без конца.

Короткое колымское лето сменилось сначала хлёткими дождями, а затем лютыми морозами. Мела пурга, и драный бушлат был плохой защитой от северной зимы. В лагере свирепствовали цинга и дизентерия, но умерших хоронить в мерзлоте было невозможно. Стаскивали их за лагерь и зарывали в снег до весны. Не стоит здесь подробнее писать об аде Колымы — лучше Шаламова никто этого не сделал и, думаю, уже не сделает.

Мать его, Рахиль, после того как Нану арестовали, какими-то правдами и неправдами умудрилась узнавать все перегибы его крестного пути и ехала вслед за этапом, чтобы к сыну быть поближе. В первое время с дороги писала она письма своему брату, Лёвину отцу, а потом письма прекратились. Сгинула она навсегда где-то на бескрайних просторах Сибири.

В лагере выжить на общих работах редко кому везло, но судьба сжалась над молодым пианистом. В лагерях Дальстроя, так называлась эта империя рабского труда, для поднятия настроения эзков при выводе на работу играл духовой оркестр. Нацисты эту чудную идею позже переняли в своих концлагерях. Культурные всё же страны Россия и Германия! На счастье Наны, у начальника конвоя оказался музыкальный слух. Его постоянно злила фальшь духовиков-любителей, что ежедневно в пять утра провожали своей музыкой эзков на работу. Однажды доложили ему: пилит брёвна бывший студент консерватории. Вызвал его начальник и спрашивает, может ли он с духовиками поработать, чтобы их дудки не терзали уши культурного вертухая. Нана сказал, что сможет. Тогда с общих работ его сняли, и стал он с трубачами заниматься. Зазвучали они куда лучше — многие дудари играли по слуху, так он их нотной грамоте научил.

Однажды, году где-то в 1943-м, решили создавать по лагерям культбригады, не столько чтобы ээкам интереснее жить стало, но главное — начальству скуку развеять. Нану в одну такую бригаду забрали, чтобы он там музыку делал. Пальцы он

уже совсем разработал, только при переменах погоды болели срочные переломы. Достали для Наны аккордеон, он на нём быстро научился, а в некоторых квч (культурно-воспитательных частях) были даже пианино, так что он стал играть по памяти уже и пьесы классического репертуара. Как-то на одном таком выступлении в Магадане вдруг вбежали охранники, всех зрителей на ноги подняли и концерт остановили: приехала и со своей свитой в зал вошла сама царица!

Здесь надо пояснить. В тридцать девятом году по комсомольской путёвке приехала в Магадан двадцатичетырёхлетняя женщина довольно привлекательной наружности и очень неравнодушная к противоположному полу. Имя ей было Александра Романовна Гридасова. Сначала работала она в какой-то конторе, но однажды попала на глаза всесильному хозяину Дальстроя генералу Ивану Фёдоровичу Никишову. Увидел её этот царь-генерал — и не стало у него с той минуты покоя, пока не отправил он свою жену и детей на «материк» (так называлась вся страна за Колымой, ибо добраться туда можно было только самолётом или морем). Как от семьи отделался, так сразу на Гридасовой женился, вернее — назначил её своей женой. Дал он ей сначала звание лейтенанта, а потом чины посыпались на неё один за другим. И должности стали у Гридасовой одна важнее другой, пока не назначил её муж на самый высокий после себя пост — начальницей Маглага, самого большого лагеря в Дальстрое. Была у неё личная машина «студебекер» с шофёром, слуги. Жили царь с царицей в шикарном особняке с садом (сад в Магадане!). Парочка эта отличалась самодурством и жестокостью, и жизнь любого, хоть ээка, хоть вольнонаёмного, целиком зависела от их прихотей. Кличку Гридасовой в Магадане дали Екатерина Четвёртая — всё же по отчеству была Романовна, непонятно только, почему «четвёртая». Кроме мужчин, была у царицы ещё одна страсть — обожала артистов и искусство, хотя абсолютно ничего в нём не понимала. Образование у неё было никакое, но когда-то, ещё девчонкой, попала она в Тамбове на спектакль, с тех пор влюбилась в театр и теперь решила: быть в её империи придворному театру. Стала она по лагерям собирать актёров, музыкантов, певцов, художников, и вскоре появился в Магадане музыкально-драматический театр имени Горького под руководством бывшего режиссёра мхата Л. В. Варпаховского, со своей труппой и оркестром из эзков.

Зашла царица в квч, где Нана играл Шопена, все вскочили, уступили ей место в первом ряду, она милостиво позволила продолжать. Когда концерт кончился, она Нану к себе призвала и сказала, что он ей понравился, а потому она забирает его к себе в театр. Вот так стал он музыкантом в крепостном театре. Занимался Ананий с актёрами — готовил

их к оперным спектаклям, аккомпанировал драматическим постановкам и часто солировал с оркестром, которым руководил талантливый дирижёр и композитор Пётр Ладирдо, тоже ээк, разумеется. Спектакли и концерты в этом полюсе лютости были на самом высоком профессиональном уровне. Хотел я написать, что работали те актёры и музыканты не за страх, а за совесть, а потом подумал: всё же за страх! Мадам Гридасова часто приходила на репетиции, со своим мнением не лезла и советов не давала, но следила, чтобы была полная отдача.

Однажды, когда репетировали оперу «Кармен», заметила царица, что дирижёр чем-то недоволен и выговаривает концертмейстеру духовой группы. Подошла она к сцене и спрашивает:

— Что тут у вас стряслось? Ты чем недоволен?

— Александра Романовна, — отвечает дирижёр, — здесь у Бизе есть соло фагота. У нас в оркестре нет фаготиста, и я прошу, чтобы эту часть сыграли кларнеты, а у них не получается как надо.

— Сам знаешь, я в этих тонкостях не понимаю, но ты мне, Петя, напиши-ка на бумажке, в чём проблема, какой тебе музыкант нужен, я поищу.

Дирижёр написал, и недели не прошло — во время очередной репетиции заводят в зал насмерть перепуганного очкарика с фаготом в руках. Посадили его в оркестр; оказался этот новенький чудным музыкантом. Потом выяснилось, что царица сначала по своим лагерям поискала, но фаготиста не нашла. Тогда она мужу сказала: «Достань мне фаготиста!» Связался генерал с Москвой, и той же ночью арестовали фаготиста из одного московского оркестра и доставили самолётом в Магадан. Ничего не поделаешь — искусство требует жертв. Только почему-то жертвам это не в радость. Таким поворотом дел маэстро Ладирдо потом долго мучился: знал бы, что так получится, слова ей бы не сказал.

В 1944 году в Магадан прилетела американская правительственная делегация во главе с вице-президентом Генри Уоллесом. По приказу Берии устроили для них «потёмкинскую деревню». Магаданские магазины ломились от свежих фруктов и овощей, счастливые шахтёры-стахановцы приветствовали дорогих гостей, а вечером им показали концерт в Доме культуры. По возвращении в Америку этот наивный вице писал, что больше всего его потряс первоклассный оркестр в такой глуши. Америке в этом плане надо бы поучиться у России.

Пришёл как-то к ним в театр вольнонаёмный актёр. Отрубил он семь лет ээком на золотых приисках Колымы, а после освобождения уехать на «материк» ему не позволили, и устроился он играть в магаданский театр. Там он близко сдружился с Наной, и длилась эта дружба потом многие годы. Звали того парня Георгий Жжёнов, и стал он впоследствии известным киноактёром.

Разумеется, жизнь артистов и музыкантов в театре была несравненно легче, чем у эзков в лагерях, и потому многие не только выжили, но даже жизнь свою пытались устроить. Нана в театре встретил свою старую знакомую по Харбину Инну Рудинскую, работавшую костюмершей, и вскоре с позволения и благословения царицы на ней женился. Там же, в Магадане, и дочь родилась.

Бывали в их жизни и забавные моменты. Вот один такой случай. Ставили в театре оперу «Мадам Баттерфляй» Пуччини. В одной сцене Пинкертон должен зайти в комнату к Чио-Чио-сан и увидеть у неё ребёнка. Ну где взять для спектакля в Магадане ребёнка? Тут вспомнил кто-то, что у вольнонаёмной костюмерши Розы Исааковны есть пятилетний внучек. Родители его сидели по колымским лагерям, а костюмерша с внучком сама сюда приехала, чтобы быть поближе к его папе и маме. Привели этого малыша, одели в нарядный костюмчик и велели во время спектакля просто стоять на сцене и ничего не делать. На премьере во втором акте Пинкертон выходит на сцену, видит Чио-Чио-сан с мальчиком и поёт, указывая на него рукой: «Чей это ребёнок?» И тут неожиданно вежливый малыш решил ответить красивому дяде в белом кителе и крикнул на весь зал: — Я внук Розы Исааковны!

Спектакль пришлось остановить. Сердобольная царица от смеха даже расплакалась и подарила малышу невиданный заморский фрукт — яблоко.

В сорок седьмом году, когда близился у Наны к концу его десятилетний срок, все мысли были о скорой воле, о встрече с отцом, с матерью (не знал он, что её уж нет). В начале августа, после репетиции с оркестром, к нему подошёл конвойный и сказал:

— Александра Романовна приказала вам срочно к ней явиться.

Отвели его к ней в управление, она дверь за ним плотно прикрыла и говорит:

— Ананий, слушай меня внимательно. У тебя через полгода срок кончается. Но радоваться не спеши. Муж вчера бумагу из Москвы получил, где приказ дан, чтобы всех, у кого срок кончается, не выпускать, а намотать ещё пять лет в довесок. Иван этот приказ в силу пока не ввёл, а потому сделаем вот что. Я приготовила документы о твоём освобождении и вот тут пропуская на «материк» для тебя и твоей жены с ребёнком. Сейчас же и уезжайте, да так далеко, как можете. Когда приказ в силу войдёт — будьте на «материке».

Поблагодарил её Нана, и тем же вечером уплыли они на пароходе во Владивосток, а оттуда поездами — по диагонали через всю страну. Как и советовала Екатерина Четвёртая, уехали так далеко, как только возможно.

Через два месяца добрались они до Сухуми, сняли комнату. Нана устроился преподавателем

в музыкальное училище — вот, казалось, можно снова начать жить.

Но не тут-то было. Приказ об отмене освобождения эзков действовал по всей стране, и в январе 1949 года Нану в Сухуми нашли, опять арестовали и отправили в тюрьму в Тбилиси. Пробыл он в тюрьме несколько месяцев уже в качестве английского шпиона — Япония к тому времени была побеждена, и шпионы ей были ни к чему. За те несколько месяцев, что провёл он в тюрьме, умудрился даже прилично выучить грузинский язык. В Тбилиси особое совещание постановило в лагерь его не заключать, всё же отсидел он уже свою «десятку», а отправить в ссылку на пять лет в посёлок Мотыгино в Красноярском крае. Если не знаете, что такое Мотыгино, лучше вам и не знать! И поехали Шварцбург под конвоем опять на восток, в сибирскую ссылку.

Сняли они в этом посёлке комнатку, кое-как жили, но работы не было никакой, и стали с голода и тоски доходить. Было ему там совсем невмоготу, много хуже, чем в Магадане, — без денег, без зимней одежды, нечем ребёнка кормить, да и без музыки не мог он жить. Написал тогда Ананий прошение начальству, чтобы позволили ему отбывать ссылку ну хоть чуть-чуть в более культурном месте. Сжалились и разрешили ему переехать в Енисейск, что на север от Красноярска. Тоже не Рио-де-Жанейро, но там хоть были клуб и музыкальное училище.

Буквально на следующий день после переезда в Енисейск пошёл Ананий разыскивать этот клуб. Клуб оказался в добротном особняке ещё старой кирпичной постройки. Дверь была не заперта, побродил по безлюдным коридорам и зашёл в зал. Там было пусто, только лежали расстеленные по полу красные полотенца, и какая-то измождённая старуха рисовала на них лозунги к Первомайским праздникам. Но главное — в дальнем углу стоял настоящий рояль, поцарапанный, пыльный, заваленный каким-то хламом. Но рояль! Нана подошёл к нему, скинул на пол мусор, отёр рукавом пыль и открыл крышку. Сначала нежно погладил клавиши, как ребёнка по голове, потом уселся на стул, посидел молча, вздохнул и заиграл рапсодию Листа. Вскоре заметил он, что та старуха, которая рисовала лозунги на полу, подошла к роялю, стоит рядом и слушает, прикрыв рот руками. Она, не мигая, смотрела на его руки, и по щекам её текли слёзы. Когда он кончил играть, она, слегка картавя, зашептала: — Ещё, ещё, пожалуйста, играйте ещё. Прошу вас, я так много лет этого не слышала...

Играл он для неё долго, а главное — для себя. Потом разговорились, и сказала она, что зовут её Анна Васильевна и вот уж три десятка лет как носит её судьба-злодейка по тюрьмам, лагерям и ссылкам. За что сидела, он её не спрашивал,



А. Шварцбург
после переезда
в Красноярск

Природа щедро одарила талантами этого человека. Он был одарён во всём — блестящий пианист, великолепный рассказчик, поэт, мастер рисовать карикатуры и шаржи, обладал приятным баритоном, был красив, умен, обаятелен и, как магнит, притягивал к себе самых разных людей. Он вёл постоянные музыкальные передачи на красноярском радио и телевидении, часто выступал с лекциями. Его друзьями стали многие выдающиеся музыканты того времени — А. Хачатурян, М. Ростропович, Д. Ойстрах, друг детства ещё по Харбину О. Лундстрем, — да разве всех перечислишь?! Для многих из них гастроли в Красноярске часто были лишь поводом встретиться и побыть с Ананием Ефимовичем.

Казалось, пришёл, наконец, к нему покой и настала нормальная жизнь, но умерла жена, и остался он один с дочкой. А ещё в глубине души его жил леденящий страх. Нана вздрагивал при каждом стуке в дверь, скрипе тормозов за окном, звуке шагов на лестничной клетке или шуме лифта. По ночам снились кошмары, что вот опять его арестовывают, бьют по почкам, ломают пальцы, везут по этапу и пилит он дрова под шарманочный напев: «Мне-тебе-начальнику...» Он просыпался в холодном поту и долго не мог снова уснуть. Когда видел на улице милиционера или просто человека в военной форме, сердце замирало и холодели руки.

Будучи одним из самых известных и популярных в Красноярске людей, получил он квартиру в доме для большого начальства. Соседом по лестничной клетке был генерал КГБ, начальник краевого управления. Когда генерал по-соседски заходил, у Наны пропадал голос и деревенели ноги. Сосед не мог понять, почему у такого блестящего лектора и самого общительного человека в городе вдруг заплетается язык и дрожат руки. После смерти Сталина и с наступлением «вегетарианских» времён уже не арестовывали людей без всякой на то причины, но память продолжала нашёптывать ему: «Не верь им. Было это раньше, будет опять. Берегись и будь начеку».

Когда у Анны Васильевны закончился срок очередной ссылки, позволили ей уехать из Енисейска, и она поселилась в Красноярске, хотела быть ближе к Нане. Опять, как и раньше, она часто засиживалась у него допоздна, нянчила Наташу, наряжала её кукол, ходила за покупками, убирала в доме. Буквально стала членом семьи. Нана много работал, почти каждый вечер проводил в филармонии или на телевидении, так что «Каменный гость» была даже кстати.

Однажды, когда пили чай и смотрели телевизор, она ему сказала:

— Ананий Ефимович, я, кажется, не говорила вам, кто был мой первый муж? Могу сказать: звали его Сергей Николаевич Тимирёв. Моя фамилия и сегодня по нему — Тимирёва. Был он героем

а она — его. Такие вопросы задавать было не принято, да и смысла не было — и так ясно: ни за что. Анна Васильевна жила в Енисейске в ссылке одна, неподалёку от Шварцбургов, и Нана пригласил её к ним зайти в тот же вечер. Когда познакомились поближе, она коротко про себя рассказала:

— Я из очень музыкальной семьи. Можно сказать — выросла в музыке. Мой отец был прекрасный пианист, звали его Василий Ильич Сафонов. По рекомендации Чайковского его назначили сначала профессором, а потом директором Московской консерватории. Петра Ильича я, конечно, знать не могла — он умер в тот год, когда я родилась. В нашем доме постоянно звучала музыка, часто бывали у нас Танеев, Рахманинов, Скрябин, да вообще все лучшие музыканты начала века. После Гражданской войны так сложилось, что я на воле была мало, и музыки у меня в жизни не стало на многие годы. А теперь вот, Ананий Ефимович, мне вас Бог послал за мои мучения. Кроме вас, нет у меня никого. Вернее, есть где-то в лагерях мой сын, но я ничего о нём не знаю...

С тех пор Анна Васильевна часто к ним приходила, нянчила их дочку Наташу, всегда засиживалась за полночь, за что Нана с женой прозвали её «Каменный гость».

Ананий устроился преподавателем в музыкальное училище, давал концерты и руководил городским хором. Совсем скоро вся культурная жизнь в этом сибирском городке стала вращаться вокруг Шварцбурга.

Когда после смерти Сталина закончился у него срок ссылки, позволили ему переехать в Красноярск, а в 1954 году полностью реабилитировали. Устроился он на работу в Красноярскую филармонию, сначала концертмейстером, а в 1960 году стал её художественным руководителем.

Русско-японской войны, до семнадцатого года служил старшим офицером у императора Николая Второго на его личной яхте «Штандарт», а уже после нашего развода в восемнадцатом году стал он контр-адмиралом белого движения на Дальнем Востоке.

Как услышал Ананий эти слова—страх сжал его горло когтистой лапой: в его доме днюет и ночует жена, хоть и бывшая, белого контр-адмирала, да ещё офицера Николая Второго! За такую связь—вдруг опять арестуют и новый срок наматывают? Нашёптывал ему страх: надо эту Анну Васильевну Тимирёву от дома отвадить, она может накликать беду. Но как это сделать, он не представлял. Всё же дружили они уже пять лет, и природная деликатность и порядочность не позволяли ему сказать: «Больше ко мне не ходите». Она не понимала его чувств и продолжала приходить.

Прошло время. Страх от общения с Тимирёвой как-то притупился, и Анна Васильевна бывала у него почти каждый день. Однажды, когда пили они чай и смотрели телевизор, как и пару лет назад, она сказала:

— Ананий Ефимович, я, кажется, не говорила вам, кто был мой второй муж? Могу сказать. Мужем моим был адмирал Колчак. Я из-за него Сергея Тимирёва оставила. У нас с Колчаком была безумная любовь, и хоть мы не были венчаны, я стала его гражданской женой. Когда его арестовали в Иркутске, я сама в тюрьму пошла, чтобы его подержать и быть рядом. Мы там с ним в разных камерах сидели, но нам удавалось обмениваться записками. А после того, как они его убили, с тех пор вот уж тридцать пять лет я всё по тюрьмам да по лагерям и ссылкам. Только за то, что я его любила. Только за это... Как-то я следователя на допросе спросила: «За что?»—а он мне отвечает: «Советская власть вам столько горя принесла, что вы не можете не быть её врагом». Вот так...

Тут у бедного Анания Ефимовича чуть сердце не остановилось, и опять, как раньше, страх сжал ему горло, и он твёрдо решил: надо, надо её отвадить! Кто знает, какие ещё были у неё мужья? Стал он к ней нарочито холоден, менее приветлив—может, сама поймёт? Но не понимала и продолжала приходить.

Одним вечером, когда Анна Васильевна укладывала Наташку спать, к Нане зашёл его приятель, писатель Марк Юдалевич. Он сказал:

— Ананий, ты знаешь всех, и все знают тебя. Может, ты мне поможешь найти одного человека? Я сейчас пишу книгу «Адмиральской час». Это про адмирала Колчака. Мне дали доступ к архивам, но в них ничего нет о нём как о человеке, а без этого книга будет сухой и казённой. В документах я вычитал, что была с ним в той же тюрьме в Иркутске его жена, Анна Тимирёва. Мне даже удалось разыскать не дошедшее письмо Колчака

к ней. Там, в архиве, мне сказали, что она сейчас живёт где-то в Красноярском крае, но я не представляю, как мне её найти!

Нана усмехнулась: знал бы он, что прямо сейчас жена Колчака в соседней комнате укладывает его дочку спать! Он попросил писателя подождать, а сам зашёл к Анне Васильевне и рассказал, что её разыскивает писатель-историк и хочет с ней поговорить о Колчаке. Она ответила:

— Я не знаю этого человека. Может, он такой, как они все, а может, у него есть совесть. Передайте ему моё условие: если он напишет, что Колчак был враг советской власти, и это всё, что там будет сказано, я с ним говорить не стану. Но если он ещё добавит к этому, что был Александр Васильевич отставным моряком, крупным учёным, полярным исследователем, в высшей степени культурным и исключительно порядочным человеком, я с ним поговорю.

Нана вернулся к гостю и сказал, что познакомит его с женой Колчака, но только на её условиях. Тот согласился и дал слово. Когда они познакомились, он отдал ей то письмо, что нашёл в архиве. Она взяла его дрожащими руками, взгляделась в знакомый почерк и прошептала:

— Не думала я, что получу от Саши весточку через столько лет.

Потом ушла в другую комнату, дверь прикрыла, и услышал писатель оттуда сдержанные рыдания. К его чести, слово, данное Тимирёвой, он сдержал: книгу написал правдивую и даже при советской цензуре смог в ней сказать правду про «Верховного правителя России».

В 1956 году сообщили Анне Васильевне, что её единственный сын Владимир Тимирёв был расстрелян ещё в 1938 году и теперь реабилитирован. В шестидесятом её саму, наконец, реабилитировали, и она решила переехать в Москву—город своей юности. По просьбе Наны Д. Шостакович и Д. Ойстрах смогли выхлопотать для неё крохотную комнатку в коммуналке на Плющихе и мизерную пенсию в сорок пять рублей. Там она и прожила в нищете последние пятнадцать лет своей жизни.

Через полвека после первого ареста она писала стихи, обращаясь к своему Колчаку:

Но если я ещё жива
Наперекор судьбе,
То только как любовь твоя
И память о тебе.

С её отъездом Нана несколько успокоился, много работал, ездил по стране, встречался с друзьями. Часто бывал в Москве, останавливался там у своего старого друга Георгия Жжёнова.

Шли годы, но прошлое не хотело отпускать его, и страх возврата в былое жил в нём помимо его воли. Всё чаще щемило сердце, всё чаще приходили ночные кошмары, и со стоном просыпался он в холодном поту. А однажды не проснулся.